

Михаил Петрович Арцыбашев

Рабочий Шевырев



Михаил Арцыбашев

Рабочий Шевырев

«Public Domain»

1905

Арцыбашев М. П.

Рабочий Шевырев / М. П. Арцыбашев — «Public Domain», 1905

«В сумерки, когда на лестнице, снизу доверху всех четырех этажей, сгустилась мутная мгла и окна на площадках расплылись тусклыми пятнами, у квартиры позвонил какой-то человек. За липкой дверью, обитой клочьями клеенки, сердито заплакал старый звонок и долго не мог успокоиться, тоненьким замирающим сипеньем, словно муха в паутине, жалуясь кому-то на свою горькую судьбу. Никто не выходил, но человек стоял неподвижно и прямо, как столб. Фигура его жутко чернела во мраке. Худая кошка, совсем невидимо скользившая вдоль перил вниз, не обратила на него никакого внимания, так тихо стоял он. И если бы кто-нибудь вышел в это время из соседней квартиры, то испугался бы этой черной тени. Было в ней нечто зловещее: добрые и веселые люди, пришедшие с открытой душой, не стоят так...»

© Арцыбашев М. П., 1905

© Public Domain, 1905

Содержание

I	5
II	12
III	13
IV	16
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Михаил Петрович Арцыбашев

Рабочий Шевырев

В это время пришли некоторые и рассказали Ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их.

Иисус сказал им на это:

«Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все также погибнете».

Луки, 13

I

В сумерки, когда на лестнице, снизу доверху всех четырех этажей, сгустилась мутная мгла и окна на площадках расплылись тусклыми пятнами, у квартиры позвонил какой-то человек.

За липкой дверью, обитой клочьями клеенки, сердито заплакал старый звонок и долго не мог успокоиться, тоненьким замирающим сипеньем, словно муха в паутине, жалуясь кому-то на свою горькую судьбу. Никто не выходил, но человек стоял неподвижно и прямо, как столб. Фигура его жутко чернела во мраке. Худая кошка, совсем невидимо скользившая вдоль перил вниз, не обратила на него никакого внимания, так тихо стоял он. И если бы кто-нибудь вышел в это время из соседней квартиры, то испугался бы этой черной тени. Было в ней нечто зловещее: добрые и веселые люди, пришедшие с открытой душой, не стоят так.

Безмолвно и холодно было на лестнице, и в пустынном мраке невидимо поднимался промозглый туман – зловонное испарение огромного дома, с чердаков до подвалов набитого грязными, больными, голодными и пьяными людьми. Чем выше, тем гуще колыхался этот туман, и казалось, что это он сам, оплотившись в человеческий образ, породил зловещую черную тень на последней площадке.

Где-то далеко гремели пролетки и чуть слышно звонили конки; снизу, со двора, провалившегося в бездонный колодец, долетали резкие озлобленные голоса, но здесь было мертво и глухо. Чудилось, будто за каждой обшарпанной дверью, наглухо закрытой от всего мира, притаилась и молчит скорбная тайна.

Наконец, внизу хлопнула входная дверь, и гулкое эхо, дробясь в пролетах лестницы, прокатилось по всем этажам. Послышались шаги человека. Слышно было, как он подымался все выше и выше, торопливо заворачивая на площадках и опять тяжело шагая через две ступени сразу. Когда шаги послышались уже на последнем повороте и в мутном пятне окна промелькнул темный силуэт, стоявший у двери сделал шаг навстречу.

– Кто тут? – невольно вскрикнул человек, и в голосе его прозвучало нечто большее, чем простой испуг.

– Здесь отдается комната?.. Вы не знаете? – резко и твердо спросил стоявший у двери.

– А! Комната?.. Не знаю, право... Кажется, есть. Да вы позвоните.

– Я звонил.

– Э!.. У нас надо звонить по-особенному... Вот!

Он нашарил ручку звонка и дернул изо всех сил.

Звонок даже не задрезжал, а прямо-таки закричал и сорвался, точно покатились с лестницы и ударились в стену жестянка с горохом. Тогда послышался шорох, и в щель отворившейся двери вместе с полосой желтого света высунулась седая старушечья голова.

– Максимовна! Вот комнату у вас спрашивают, – заявил ей пришедший, длинный и тощий студент, и первый прошел в коридор, где тускло и желто горела лампочка на стене;

а воздух был кислый и парной, как в грязном предбаннике. Он не слышал, что говорила старуха, пробрался по коридору между сундуками и занавесками, за которыми кто-то копошился, и ушел в свою комнату. Только уже раздевшись и оставшись в одной красной мужицкой рубахе, без пояса и с расстегнутым воротом, студент вспомнил о новом постояльце и спросил у старухи, внесший кипящий самовар:

– Ну что, Максимовна, сдала комнату?

– Сдала, слава Богу, Сергей Иванович. За шесть рублей сдала. Ничего, кажется, тихий жилец будет.

– Почему вы так думаете?

Старуха посмотрела на него белыми, почти слепыми глазами, горько усмехнулась и, поджав высохшие, тонкие губы, ответила:

– Я, Сергей Иванович, шестьдесят пять лет на свете живу, присмотрелась ко всякому народу. Вон ослепла, присматриваясь, – горько прибавила она и махнула рукой.

Студент невольно взглянул в ее белые, полуслепые глаза, хотел что-то сказать, но промолчал, а когда старуха ушла, постучал в дверь и крикнул:

– Эй, сосед, не хотите ли чайку на новоселье? А?

– С удовольствием, – ответил резкий голос.

– Так пожалуйста сюда.

Студент уселся за стол, налил два стакана жидкого чая, придвинул сахар и повернулся к двери.

Вошел невысокий, тонкий и очень белокурый молодой человек, у которого был такой странный вид, точно он все время нарочно выпрямлялся и подымал голову.

– Николай Шевырев, – с жесткой отчетливостью сказал он.

– Аладьев, – ответил хозяин, улыбаясь и пожимая руку гостя.

Жал он по-мужицки: грубовато, радушно и дольше, чем следует. И вообще, по сутулой могучей спине, опущенным плечам, длинным громадным рукам и длинноносому иконописному профилю с жидкой бородкой и волосами в кружок, он был похож на простого псковского или новгородского парня плотника. Говорил глуховатым басом, таким положительным, что невольно приходило в голову, будто он и думает басом.

– Что ж, садитесь, будем чай пить и разговоры разговаривать, – добродушно сказал он.

Шевырев сел, двигаясь отчетливо и быстро, но все сохраняя прямой, недоступный вид. Серые с металлическим оттенком глаза его смотрели холодно и непроницаемо. В нем не было и тени того смущенного любопытства, которое овладеет самыми развязными людьми в комнате человека, которого видят первый раз. И Аладьев, глядя на него, подумал, что этот Шевырев ни при каких обстоятельствах не изменит себе, тому чему-то особенному, что сидит в глубине его замкнутой души.

«Парень любопытный!» – подумал он.

– А вы что, приезжий?

– Я только сегодня приехал из Гельсингфорса.

– А где же ваши вещи?

– Вещей у меня никаких нет. Так... подушка, одеяло, несколько книг.

При последнем слове Аладьев особенно внимательно и ласково посмотрел на гостя.

– А... Если это не секрет... чем, собственно, вы занимаетесь?

– Не секрет... Я – рабочий, токарь по металлу, приехал искать работы по случаю закрытия завода.

– Значит, безработный?

– Да, – ответил Шевырев, и какая-то особенная струна прозвучала в его голосе.

– Много народа сидит без работы, – с участием заметил Аладьев, – трудно вам теперь?

– Нам трудно всегда, – равнодушно возразил Шевырев, – а скоро будет трудно и тем, кому теперь легко, – прибавил он с оттенком угрозы.

Аладьев посмотрел на него с любопытством.

«Эге-ге! – подумал он обстоятельно. – Парень-то с душком! Это дело надо рассмотреть... Личико-то у него подозрительное!»

Шевырев, очевидно, заметил то особое выражение, с каким скользнули по его лицу умные мужицкие глазки хозяина, и опустил лицо в стакан.

– А... вы – студент. И пишите, кажется! – сказал он быстро.

Аладьев немного покраснел.

– Почему вы так думаете?.. Что я пишу, то есть?

Шевырев неожиданно улыбнулся, и притом гораздо ласковее, чем можно было ожидать от его гордой физиономии.

– Это нетрудно, – пояснил он, – на стенах у вас портреты писателей, на полках много книг, на столе исписанная бумага, под столом смятые и разорванные листы. Это видно.

Аладьев засмеялся, но посмотрел еще внимательнее. Глаза у него стали хитрыми, но тоже по-мужицки: сразу было видно, что он хитрит.

– Правда, просто... А вы, я вижу, человек наблюдательный!

Шевырев промолчал.

Слышно было, как в соседней комнате кто-то ходил, дробно постукивая каблучками. Аладьев закурил толстую папиросу и сквозь дым внимательно наблюдал за гостем.

Шевырев сидел прямо и твердо и все время чуть-чуть шевелил пальцами. Было в нем что-то особенное, не похожее на сотни лиц, какие можно встретить каждый день. И умные мужицкие глазки Аладьева сразу заметили эту особенность: черты непонятной решимости и затаенной мысли. Он даже обратил внимание на каменную неподвижность всего тела и молодого белокурого лица и на почти незаметное, но странно быстрое движение пальцев. И чем больше он смотрел, тем острее пробуждалась в нем осторожность и тем глубже проникала в душу бессознательная симпатия и еще более инстинктивное уважение к этому незнакомому человеку.

Он прищурил глаза, точно от дыма, и проговорил как будто небрежно, но двусмысленно:

– Наблюдательность – черта редкая...

Шевырев ответил не сразу; только пальцы его зашевелились быстрее. Казалось, что он не хочет отвечать, но после короткого молчания вдруг неожиданно поднял голову, холодными глазами посмотрел в упор на Аладьева и сказал, чуть-чуть скривив губы:

– Я вас понимаю.

– Как? – невольно смутившись, переспросил Аладьев.

– Вы стараетесь выпытать, не шпион ли я... Нет, успокойтесь. Не надо так... Я ведь не заставляю вас говорить и пришел к вам не сам.

– Ну, что вы! – начал было Аладьев с жаром, но густо покраснел.

Шевырев опять улыбнулся. Решительно, когда он улыбался, лицо его становилось другим: мягким и даже нежным.

– Нет, отчего же... Это естественно. Только если бы я был шпион, я бы по одному вашему выпрашиванию должен был бы догадаться, что вам есть чего бояться.

Аладьев с минуту смотрел на него смущенно, потом почесал затылок, широко улыбнулся и махнул рукой.

– Ну, пусть по-вашему. Виноват, что греха таить!.. Сами знаете, какое теперь время... А скрывать мне нечего.

– Я сказал «бояться», а вы говорите «скрывать». Значит, есть что.

Шевырев улыбнулся.

Аладьев широко открыл глаза и подумал.

– Н-да... – медленно проговорил он. – А... а сыщик из вас, простите, вышел бы все-таки великолепный... с психологией!

– Может быть, – серьезно, но с оттенком неудовольствия согласился Шевырев. – А что вы пишете? – спросил он, явно желая переменить разговор.

Аладьев покраснел, точно его поймали.

– Я?.. Да так... Я ведь только что начинаю... Два рассказа, впрочем, уже напечатал... Ничего... Хвалят.

Он прибавил это не глядя и с видом якобы равнодушным, но наивная гордая радость против воли ясно звучала в его голосе.

– Знаю. Читал. Сначала забыл, потом вспомнил фамилию. Вы – из крестьянского быта. Помню.

Хозяин и гость помолчали. Шевырев неподвижно глядел в стакан и чуть заметно быстро шевелил пальцами руки, лежавшей на колене. Аладьев, видимо, волновался. Ему очень хотелось спросить, как понравились Шевыреву его рассказы. Он был глубоко убежден, что пишет не для интеллигенции, а именно для рабочих и крестьян. Раза два Аладьев даже раскрыл рот, но не решился. Тогда он стал закуривать папиросу, прищурившись и чересчур внимательно следя за огоньком спички; но еще не закурив, спросил с деланной небрежностью:

– Что ж, понравились вам мои рассказы?

– Пожалуй, – ответил Шевырев, – они очень сильно написаны... производят впечатление...

Аладьев покраснел и начал улыбаться против воли широкой детской улыбкой, которую напрасно старался удержать.

– Только вы очень идеализируете людей, – прибавил Шевырев.

– То есть? – взволнованно спросил Аладьев.

– Если я не ошибаюсь, ваша идея такова, что нет дурных людей в здравом уме и свежей памяти. Что только внешние, устранимые обстоятельства мешают людям быть хорошими. Я в это не верю. Человек гадок по натуре. Напротив, именно благоприятные обстоятельства позволяют некоторым... и то очень немногим... быть хорошими.

Аладьев возмущился. Это было его больное место, потому что составляло идею всех его будущих писаний, а в идею свою он верил крепко, просто и бездоказательно, как мужик верит в Бога.

– Что вы говорите! – вскрикнул он.

– Я так думаю, – металлически непоколебимо ответил Шевырев. – Я – рабочий. Я это знаю хорошо.

В голосе его прозвучала подавленная силой воли болезненная горечь, и Аладьеву вдруг стало его жаль.

– У вас, верно, жизнь была очень тяжелая... Это вас и озлобило. Невозможно, чтобы вы верили в то, что говорите... Ведь это, простите, пахнет человеконенавистничеством!

– Я не боюсь этого слова, – холодно возразил Шевырев. – Я действительно ненавижу людей, но то, что вы называете «озлобило», я считаю «научило».

– Чему?

– Видеть правду, которую усиленно стараются скрыть люди сами от себя.

– Зачем же им скрывать, если они все таковы? И что вы называете этой правдой?

– Надо скрыть, чтобы одним жить на счет других. Это обыкновенный обман... А правда в том, что все инстинкты человека хищны...

– Что вы говорите! Все! – с волнением вскрикнул Аладьев. – А любовь, а самопожертвование, а жалость?..

– Я не верю. Это то же платье, чтобы скрыть неприглядную наготу и защититься от хищных инстинктов, которые делают жизнь невозможной... Продукт идей, а не природы чело-

века... Дрессировка... Если бы любовь, не половая, конечно, жалость и самопожертвование были такими же врожденными инстинктами, как хищничество, то вместо капитализма была бы христианская республика, сытые не могли бы смотреть, как умирают голодные, и не было бы господ и рабов, потому что все стремились бы жертвовать друг другу и было бы равенство. А теперь не то...

Аладьев в волнении встал и заходил по комнате, шагая тяжело, как будто ходил за плугом по распаханной земле.

– В человеке живы два начала – божеское и дьявольское, если взять терминологию наших мистиков. Прогресс – это борьба между двумя началами, и только, а вы...

– А я думаю, что если бы эти два начала в чистом виде равны были бы в природе человека, то жизнь не могла бы быть так отвратительна, как теперь... Нет!.. Простая борьба за существование изобрела эти лозунги, как изобрела паровозы, и телефоны, и медицину...

– Ну, хорошо... Допустим... Следовательно, человек способен воздействовать на свою психику, и тогда отчего же вы не верите в торжество этих начал над хищничеством?.. Идеалы медленно, но верно пробиваются в жизнь, и когда они восторжествуют и уравниют права человека...

– Этого никогда не будет, – равнодушно возразил Шевырев. – Одновременно с ростом прогресса растет и сложность жизни... Круг ее расширяется и будет расширяться бесконечно, как бесконечна вселенная... Борьба за существование есть вечный закон и прекратится только тогда, когда прекратится самое существование.

– Значит, вы не верите в лучшие формы жизни?

– В новые – да, в лучшие – нет.

– Почему же?

– Потому, что человек счастлив и несчастен не оттого, что ему причиняется зло или добро, а потому, что в нем есть врожденная способность к страданию и наслаждению.

– Это парадокс!

– Нет – только правда. Есть люди, которые съедают столько, сколько другие вчетвером; они будут голодны, если съедят порцию только трех человек... Те, которые живут на экваторе, страдают, когда температура ниже десяти градусов тепла, а те, что живут на Камчатке, рады, когда температура подымается выше двадцати градусов холода... То же самое во всех областях человеческих чувств, отношений и потребностей... Это не потому, что жизнь так плоха, а потому, что человеку свойственно чувство страдания... Каковы бы ни были условия его жизни, в них всегда окажется повод для страдания... Если бы житель каменного века мог перенестись в нашу жизнь мечтой, он подумал бы, что видит рай на земле... А мы вот дожили до его мечты и так же, если не больше, несчастны, как и он... Я не верю в золотой век.

– Ну, знаете... – с невольным холодком в душе сказал Аладьев, – это какая-то дьявольская религия безверия!.. Извините меня, но я не верю, чтобы вы говорили искренне...

– Напрасно, – холодно улыбнулся Шевырев.

– Но ведь это ужасно!

– Я и не говорю, что хорошо.

Аладьев остановился посреди комнаты и молча смотрел на своего гостя.

– Ну, хорошо... – начал он опять. – Если это так, то в чем же виноваты люди?.. Это закон природы, и больше ничего... Кого же винить и за что ненавидеть несчастных людей?

Шевырев поднял голову.

– Я ненавижу людей только за обман. Если бы те, кому выгодно было обеспечить себе сытую жизнь, не обманывали нас несбыточными надеждами и бессмысленными идеалами, может быть, давно уже люди прекратили свою жизнь и не было бы всех страданий прошедшего, настоящего и будущего...

– Но тогда бы и род человеческий прекратился?

– Да.

– Во имя чего?

– Во имя прекращения бесполезных страданий.

Аладьев замолчал и с искренним сожалением смотрел на своего собеседника. Теперь он понял, отчего такая ясность и холодность глаз и такое страшное спокойствие: у этого человека в душе была вечная тьма и пустыня. Ни радостей, ни сожаления, ни веры, ни неверия, ни надежд – ничего! Оставалось, быть может, одно острое отвращение и жажда мести, но и мести безличной.

Шевырев быстро зашевелил пальцами, подумал и вдруг встал.

– До свиданья, – сказал он. – Я немного устал с дороги... и я редко говорю так много...

Аладьев задумчиво пожал ему руку. А когда Шевырев уже отворял дверь, быстро спросил:

– А скажите... вы действительно рабочий?

Шевырев улыбнулся.

– Что ж тут удивительного? Да.

И вышел, плотно закрыв за собой дверь.

Аладьев долго ходил взад и вперед по комнате, с ожесточением куря папиросы и мысленно продолжая спор. Теперь, когда противник его молчал и только слушал, возражения казались неопровержимыми, и Аладьев мало-помалу замечтался. Грядущая жизнь в виде смутного, но светлого видения стала вырисовываться перед его глазами. И как-то странно русский мужик, огромный непонятный народ, которому столько великих людей, полных простой и крепкой веры в правду, дали имя народа-Богоносца, опять овладел его мыслью. Ему представилось необозримое море полей, лесов и деревень, серых, убогих и печальных, на просторе которых в тишине и тайне вечного труда великий народ-страстотерпец терпеливо растит свою кроткую правду, – правду будущей справедливой жизни человеческой. Это было смутно и громадно и подымало, и терзало душу Аладьева. Ему хотелось написать что-то колоссальное: одним взмахом, грудями образов, полных силы и правды и спаянных одною великой мыслью, выразить то, что так мучило и радовало его. Голова загорелась, на глазах выступали слезы, и казалось, что это так возможно, так близко и достижимо. Но трепетное сознание своего бессилия обескрыливало душу.

«Где мне!»

Аладьев тяжело вздохнул и подумал с облегчающим сердце смирением:

«Ну, что ж... Не я, так другой! А я буду делать свое дело».

Он еще постоял посреди комнаты, бессознательно глядя затуманившимися глазами на портрет Толстого, зорко и пронзительно смотревший со стены.

Потом, допив восьмой стакан уже совсем жидкого чая и вспотев, Аладьев забрал свои папиросы, лампу, потянулся всей спиной и сел за письменный стол, покрытый газетной бумагой.

Он сидел долго, почти до утра, и все писал. Лампа давала мало света, и вся комната была в тени. Только ярко освещались большая длинноносая голова и крепкие мужицкие руки, усердно и старательно водившие пером.

С усердием и трудом писал он о том, как умирают казнимые за правду крестьяне: просто, без слов, не делая из этого подвига, не ожидая восторгов и гимнов, сосредоточенно и спокойно, как будто зная что-то, чего другие не знают.

Дым густыми клубами медленно взползал мимо лампы и пропадал в сумраке. Было слышно только, как перо скрипело по бумаге да изредка трещал стул, когда Аладьев нервно двигался в каких-то ему одному известных потугах напряженной мысли.

В квартире все молчало, и темная ночь смотрела в окно. Трудно было представить себе, что ее глухой мрак только кажется таким, а где-то там, за крышами домов, на широких улицах

горят и блестят тысячи живых огней, движется торопливая болтающая толпа, открыты рестораны, сверкают на вечерах голые плечи, в театрах гремят красивые голоса; говорят, влюбляются, борются за жизнь, и живут, и умирают люди.

За стеной, на твердой кровати, неподвижно лежал Шевырев, и холодные, широко открытые глаза его с непоколебимым выражением смотрели во тьму.

II

Единственное окно комнаты Шевырева выходило в стену, над которой тянулась узкая полоска серого неба, прорезанного закопченными трубами. Комната эта носила несколько странный характер: от совершенно голых стен в ней казалось чересчур светло и холодно, на полу не виднелось ни малейшей соринки, на столе не было ни одной вещи, и если бы не сам Шевырев, совершенно нелепо сидевший не у окна, не около стола, а у запертой двери в соседнюю комнату, нельзя было бы подумать, что здесь кто-нибудь живет.

Прямо и неподвижно, только чуть-чуть перебирая пальцами на коленях, Шевырев сидел спиной к двери на единственном стуле, который сам перетащил туда. Глаза его смотрели холодно и безучастно, точно он машинально изучал свою кровать, похожую на больничную койку, но по едва заметному движению в сторону каждого звука видно было, что он чутко прислушивается ко всему происходящему в квартире.

Сначала он слушал, как пил чай и потом уходил Аладьев, а затем продолжал сторожить все дальние звуки, слабо и робко говорившие о той серенькой жизни, которая копошится вокруг.

За дверью, у которой он сидел, жила – Шевырев уже знал – молоденькая швейка, наивная и немножко глухая. Он догадался об этом по свежему голосу, по тихому журчанию машинки, по тому материнскому тону, каким за что-то выговаривала ей старуха хозяйка, и по тому, как застенчиво и трогательно-беспомощно голосок то и дело переспрашивал: что?..

Дальше где-то жило большое семейство. Оттуда доносился писк детских голосов, похожий на писк целого гнезда голодных мышат; слышался высокий озлобленный крик, очевидно, больной и замученной женщины, а рано утром звучал еще и робкий мужской тенорок.

В темном коридоре, за занавеской, какие-то старички все время торопливо перешептывались, ворошили груды тряпья, копошась, точно черви в падали. Был нуден их боязливый, прерывистый шепоток, который по временам обрывался, точно старички вдруг услышали что-то тревожное и притаились.

Раз заходила к Шевыреву хозяйка, высокая, худая и седая старуха с мутными невидящими глазами. Когда Шевырев отдал ей деньги, она долго смотрела на них и ощупывала сухими пальцами.

– Слепа стала... – сказала она с унылым спокойствием, и Шевырев слышал потом, как она показывала деньги портнихе, а та отвечала серебристо и звонко, очевидно, как все глухие, не думая, что ее слышно:

– Верно, верно, Максимовна!

Так просидел Шевырев часа три, ни разу не изменив позы и только все быстрее и быстрее перебирая пальцами. Внимательно и серьезно он зачем-то впитывал в себя все эти бесцветные звуки, без слов говорившие о том, какой убогой и жалкой может быть человеческая жизнь.

Потом быстро встал, оделся и ушел из дома.

III

Шевырев стоял на заводском дворе и сквозь мутное громадное окно, перекрещенное железным переплетом, смотрел в машинный зал.

Внутри что-то жужжало и тархтело, и стекла тихонько дрожали. Огромные окна, должно быть, давали внутрь массу света, но со двора, где так светло и высоко возносилось свободное небо, казалось, что внутри царит вечный полумрак. Видно было, как таинственно ползли вверх и вниз какие-то цепи, как стремительно, но, казалось, беззвучно неслись маховые колеса и бежали бесконечные ремни. Все двигалось, копошилось и ворочалось, но людей почти не было заметно. Только иногда, среди черных, холодно отсвечивающих чудовищ, показывалось бледное человеческое лицо с глазами как у мертвеца и сейчас же уходило обратно в мутный мрак, наполненный гулом и движением. Этот страшный гул, казалось, все нарастал и нарастал, но все оставался одним и тем же – тяжким и однообразным. А пыльные стекла окон сливали все в бесцветный тон, плоский и серый, как на полотне какого-то огромного синемаатографа.

У самого окна, на фоне ворочающихся с неуклюжей ловкостью черных рычагов, колес и поршней, маленькое коленчатое чудовище из стали и железа, уродливо кривляясь и посвистывая в тон общему гулу, быстро стружило холодную медную чушку, и тоненькие золотые стружки торопливо извивались из-под его острых металлических зубок. Над ним качалась согнутая человеческая спина и двигались большие грязные руки. Это качание было мерно и монотонно и до странности сливалось в одно с движениями маленького коленчатого чудовища.

Шевырев внимательно смотрел именно на него. Это был такой же самый станок, как тот, за который когда-то встал он, полный несбывшихся надежд и у которого изо дня в день, с утра и до вечера, простоял пять долгих лет: стоял и здоровый, и больной, и грустный, и веселый, и влюбленный, и замученный думой о тех, к кому рвалась душа.

Если бы кто-нибудь в эту минуту заглянул в глаза Шевыреву, то поразился бы их странному выражению: они не были холодны и ясны, как всегда; в них теплела какая-то нежная грусть и остро выглядывала непримиримая железная ненависть.

По временам губы его вздрагивали и нельзя было понять – улыбка ли это, или Шевырев что-то беззвучно шепчет про себя.

Так простоял он долго, потом резко повернулся, точно по команде, и твердыми шагами пошел прочь.

– Где контора? – спросил он у первого попавшегося навстречу рабочего с таким бледным и запыленным лицом, что живые человеческие глаза на нем казались странными.

– Вон. Второй подъезд, – ответил рабочий и остановился.

– Записываться?.. Не берут, – прибавил он не то сочувственно, не то злорадно и улыбнулся, показав из-под тонких синеватых губ широкие, белые, как у негра, голодные зубы.

Шевырев спокойно посмотрел ему в лицо, как будто хотел сказать: «Знаю...» – и, отворив дверь, вошел в контору.

Там уже ждали человек десять, сидевших вдоль двух высоких белых окон. На светлом фоне виднелись только темные силуэты и тускло блестел синеватый блик на чьей-то гладкой лысине, похожей на череп. Безличные и безглазые силуэты повернулись в сторону Шевырева и опять успокоились в терпеливом привычном ожидании. Шевырев стал у двери и застыл, как на часах.

Долго было тихо. Только по временам переговаривались, наклоняясь друг к другу, безглазые черепа у окон, да три конторщика, согнувшись на высоких конторках, шелестели бумагой и так бойко трещали на счетах, точно показывали свое искусство. Потом, наконец, хлопнула внутренняя дверь и толстый короткошейей человек быстро вошел в контору.

– Никифоров, штрафную ведомость! – самоуверенным пухлым голосом крикнул он.

Конторщик бросил перо и стал рыться в груди синих книг, но в это время вставшие при входе мастера безличные силуэты двинулись со всех сторон и сразу столпились кругом него. Стали видны их поношенные пиджаки, рваные шапки, грязные сапоги, серые лица с голодными глазами и повисшие жилистые руки.

– Господин мастер! – сразу заговорило несколько разнообразно хриплых голосов.

Толстый человек грубо и раздраженно выхватил книгу из рук конторщика и повернулся к ним.

– Опять! – неестественно громко крикнул он. – Ведь вывешено объявление. Ну?

– Дозвольте объяснить, – начал высокий и лысый старик, выдвигаясь вперед.

– Да что тут объяснять! Нет работы, ну и нет!.. Заказов нет... Ну? Скоро своих рассчитывать будем. Странное дело!

На мгновение все примолкли и как будто потупились. Но высокий лысый старик заговорил надорванным слезливым тоном:

– Мы понимаем... Конечно, если работы нет... Что ж тут станешь делать. Только что невмоготу... Голодаем... Нам бы инженера Пустовойтова повидать... В прошлый раз они обещали посмотреть...

Его блестящие голодные глазки с мольбой и страхом смотрели на мастера.

– Нельзя! – вдруг неожиданно свирепея, отрезал мастер и весь налился кровью.

– Федор Карлович... – настойчиво, как будто ничего не слыша, протянул старик.

– Я сто раз вам говаривал, – с сильным немецким акцентом, которого раньше не было слышно, но гораздо тише проговорил мастер, – что инженер тут ни при чем!

– Да они...

– Да их и на заводе сейчас нет, – перебил немец и отвернулся.

– А как же экипаж их у подъезда стоит... – заметил кто-то из кучки.

Мастер быстро повернулся туда, и лицо его подернулось холодной злостью.

– Ну... и стоит! Вам же лучше! – насмешливо выговорил он и опять шагнул к двери.

– Федор Карлович! – поспешно выкрикнул старик, порываясь за ним.

Немец на секунду пристально остановил глаза на его лице и даже не на лице, а на лысине.

– А тебе... – медленно и злорадно выговорил он, – и вовсе ходить нечего. Какой ты работник!

– Федор Карлович, – с отчаянным выражением вскрикнул старик, – помилуйте... разве я... Я всегда на лучшем счету...

– То всегда, а то теперь, – притворно небрежно бросил немец, – устарел, брат, пора на покой... Лучше и не ходи, все равно!

Он взялся за ручку двери.

– Помилуйте, я...

Но дверь хлопнула, и старик с размаху уперся в ее желтую, как будто насмешливую стену. Он постоял, развел руками и повернулся, точно хотел сказать:

– Ну, вот... Что ж дальше?

И вдруг все стали надевать шапки и выходить на двор.

Однако они не расходились и столпились у подъезда, как маленькое стадо вьючных животных, головами внутрь. Должно быть, многим и идти было некуда, так бесцельно, не то растерянно, не то равнодушно смотрели они под ноги. Один стал закуривать, а другие внимательно следили за ним. Измятая папироса долго не раскуривалась.

– От ветра-то хоть отвернись, – заботливо заметил кто-то.

– А... чтоб твою мать! – неожиданно крикнул закуривавший, с силой швырнул папиросу о стену и стал, точно не знал, что делать дальше.

– Ведь вот такая история... третий день не евши... – пробормотал зеленый парень и неожиданно улыбнулся, как будто ожидая сочувствия остроумной шутке.

– И четвертый не поешь! – совершенно равнодушно отозвался тот, что закуривал.

Как раз в эту минуту с другого подъезда быстрой и шеголеватой походкой вышел плотный светловолосый господин с приподнятыми пушистыми усами. При виде его почти неуловимое движение пробежало в кучке рабочих. Они как-то нервно дрогнули, двинулись вперед и стали. Только один старик снял шапку, обнажив свою грязную лысину. По плотному лицу инженера скользнула короткая тень. Он как будто хотел что-то сказать, но вместо того выразительно пожал плечами, укоризненно посмотрел вверх и раздраженно крикнул:

– Степан! Подавай! Какого черта!..

Толстый кучер с часами на поясище двинул лошадь к подъезду. Инженер быстро и ловко поднялся на подножку дрожек и плотно опустил на скрипнувшее кожей сиденье. Рыжий рысак, блестя переливистой шерстью, разом, точно играя, взял с места; шины колес мягко описали полукруг, и пролетка легко понеслась в ворота завода. Еще раз она мелькнула на улице и скрылась.

И сразу рабочие стали расходиться.

Шевырев вышел последним. Он засунул руки в карманы, выпрямился, высоко поднял голову и быстро пошел по улице.

При водянистом свете осеннего дня большой город казался особенно грязным и холодным. Прямые, как стрелы, мокрые улицы уходили в синеватый туман, и там, где люди, лошади, дома и фонари сливались в одну мутную синеву, призрачно золотился, как будто вися в воздухе, тонкий шпиг адмиралтейства.

Шевырев шел по липким от грязи тротуарам среди разбросанной торопливой и озабоченной толпы, мимо открытых дверей зелено-желтых пивных и красных чайных, мимо бесконечного ряда слепых окон, в несколько этажей висящих над беспоконной, копошащейся улицей.

Люди шли навстречу, обгоняли, переходили улицу, толпились у лотков, скрывались под воротами, похожими на погребя, и опять выбегали оттуда. Местами шел тяжелый и мрачный скандал, и над кучкой каких-то оборванцев висела круглая зловещая брань. Все были такие грязные, безобразные, в таком тряпье, что казалось странным, как они не устыдятся своего зверского вида и не разбегутся во все стороны, чтобы где-нибудь, по лесам и оврагам, нарыть себе темных нор. А над этой копошащейся в грязи толпой высоко и стройно стояли электрические фонари и бесконечными линиями тянулись проволоки телеграфа и телефона.

Из открытых пивных с чадом и гамом, как оголтелые черти, вырывались хриплые крики граммофонов, а порой, точно комья рвоты из обожравшегося желудка, вываливались на мостовую пьяные груды, не похожие на людей. Они или тут же валились в заплыванную грязь, или, толкая встречных, брели куда-то в сизый туман бесконечной улицы. Где-то вдали раздавались дикие вопли, и не всегда можно было разобрать, кричит ли это зверь, обезумевший от голода и боли, или поет пьяный человек.

На перекрестках неподвижно чернели железные фигуры конных городских и бесстрастно смотрели куда-то поверх толпы. По временам они подымали руки в белых перчатках, а их крупные лошади непонятно качали большими умными мордами.

IV

В подвальной кухмистерской, где обедал Шевырев, было шумно, как на пожаре, и от табака, пота и кухонного смрада стоял такой плотный липкий пар, что люди тонули в нем, как в болотном тумане.

Шевырев сидел у окна, за которым туда и сюда непрерывной чередой мелькали человеческие ноги и, поставив локти на мягкую от жира скатерть, безучастно смотрел в соседнюю комнату, где за разбитым бильярдом двигались в табачном дыму какие-то тени с палками. Сухой треск, хохот и ругань доносились оттуда. За соседним столиком сидела компания подвыпивших сапожников. Один, тощий, отчаянного вида парень, с серьгой в ухе, видимо, забавлял всех, издеваясь над другим, простоватым мужичонком, глядевшим ему в рот бессмысленно заинтересованными глазами. Парень что-то врал, врал с азартом, захлебываясь от удовольствия и по временам сам не выдерживал, разводил в восторге руками и, поворачиваясь к публике, восклицал блаженным голосом:

– Вот дурак-то, братцы! Я ему все вру, все вру, а он все верит!.. Как есть все верит братцы.

Мужичонка конфузливо улыбался, махал рукой и отворачивался, но парень с серьгой неожиданно ложился грудью на стол, широко раскрывал рот и начинал торжественным тоном:

– А то еще, когда я был в Пензе...

Мужичонка вздрагивал, вытягивал шею и покорно устремлял глаза в рот рассказчику.

Поминутно визжала дверь на блоке и вместе с клубами уличной сырости выпускала новых и новых посетителей, которые еще со ступенек лестницы начинали ругаться.

Мрак густел, густел туман, и крик висел под низким потолком, точно все это: крик, вонь, пар, люди и брань переплелись в один кошмарный грязный ком, в котором ничего нельзя разобрать.

За одним столиком с Шевыревым, вскоре после него, сел худой длинношей человек с очень черным и как будто восторженным лицом. Он, очевидно, все время находился в страшном волнении: то подпирал голову руками, то оглядывался по сторонам, то ерзал на стуле, что-то отыскивая у себя по всем карманам и ничего не находя. По временам он посматривал на Шевырева и, кажется, очень хотел заговорить, но не решался. Шевырев заметил это, однако смотрел холодно и никакой поддержки не оказывал.

Наконец, после одной особенно козырной выходки парня с серьгой, вызвавшей громовой хохот мастеровых и окончательное смущение легковерного мужичонки, длинношей человек повернулся к Шевыреву и, искательно улынувшись, показал на парня головой.

– Отча-янной, должно быть, жизни человек! – вежливо заметил он.

– Да... – неохотно отозвался Шевырев.

Длинношей человек, точно этого только и нужно было, решительно повернулся и с таким видом, как будто махнув на все рукой, сказал:

– Вы, товарищ, из наших... рабочий, видно?

– Да, – опять коротко ответил Шевырев. Длинношеего человека всего передернуло.

– Послушайте, можно вас просить... Я только три дня, как приехал в столицу... Нельзя ли у вас узнать, как бы мне насчет работы. Слесарь я... А?

Глаза его смотрели на Шевырева просительно и робко, но лицо все-таки сохраняло восторженное выражение.

Шевырев помолчал.

– Не знаю, – ответил он, – я сам без работы. Работы нигде нет... Застой. В городе сейчас несколько десятков тысяч безработных...

Человек с восторженным лицом, слегка открыв рот, молча смотрел на Шевырева. Потом лицо его стало меняться, бледнеть и распускаться и вдруг приняло выражение наивного бес- сильного отчаяния. Он откинулся на спинку стула и развел руками.

– Зачем вы сюда приехали? – неожиданно и даже озлобленно спросил Шевырев. – Неужели вы не знаете, сколько голодного народу сюда едет. Сидели бы там, где были.

Человек опять развел руками.

– Нельзя было... Рассчитали по волчьему билету... Что ж станешь делать?

– За что ж так? – почти равнодушно спросил Шевырев.

– Так. Забастовка. Ну... депутатом товарищи выбрали... Тогда-то не смели трогать, а теперь, как успокоение пошло, и припомнили, значит... Ну, и вон!

– А вы где работали?

– На копиях... В слесарях был.

– Депутатом были?... Что ж товарищи не выручили?

Шевырев произнес это со странным и недобрый выражением, но смотрел в сторону, точно внимательно прислушивался к новой брехне парня с серьгой.

Слесарь удивленно посмотрел на Шевырева.

– Какая там выручка!.. Пригнали три роты солдат, пулемет поставили... Вот и все!

– А вы разве не знали, что этим кончится?

– То есть... в будущем, разумеется... а пока, конечно, знал...

– Зачем же шли?

– То есть как зачем?... Товарищи выбрали...

– А вы бы отказались, – по-прежнему безучастно глядя в сторону, возразил Шевырев.

– Ну, как же так... Если все станут отказываться, тогда что ж...

– Однако же против пулеметов лезть все отказались?

– Это дело другое... Мало ли что, на смерть!.. Люди семейные, жены, дети.

– А вы бессемейный?

Слесарь слегка вздрогнул, потупился, потер лоб и тихо ответил:

– Мать есть...

Он помолчал, глядя в угол; и, казалось, тоже внимательно слушал забористого парня с серьгой.

– И хотел посла того инженер выдать за меня дочь, да я отказался...

– П-пчему? – с жалостливым недоверием спросил мужичонка, вперив восхищенный взгляд в рот парню.

– А пытаму, милый человек, что я мастеровой, пролетарий, а она дворянка. Конечно, очень она мне и самому приглянулась, а только нам не рука... На прощанье, значит, она мне сама шампанского вынесла и говорит: «Я вас, Елизар Иваныч, очень уважаю и всегда помнить буду...» Ну, и... кольцо золотое дала... Как же!

– Ну? – придвинулся мужичонка.

– Ну, что ж... Кольцо и теперь... в ломбарде за пять цалковых лежит. Нонича я не при деньгах, опосля уже выкуплю, носить буду... Нельзя, потому – память!

– А что, братцы, я вам скажу! – вдруг совершенно другим голосом сказал парень, поворачиваясь к прочим слушателям. – Попал я в Пензе на аглицкий завод, братьев Морис называется... Так вот, братцы, штука!.. Штрафов никаких, за болезнь без вычета, для рабочих каменные флигеля с мебелью... Ну, просто как в царствие небесное попал... Обращение деликатное, сам старый англичанин все на вы и за руку, как товарищ все равно... Не то что у нас, а прямо, можно сказать, рабочему человеку человеческое житье предоставлено и...

– Ну, будя врать! – неожиданно рассердился мужичонка и махнул рукой с разочарованным видом. – Мелет, не знай что!.. А я, дурак, слушаю...

– Ей-Богу, верно! – с искренним жаром побожился парень.

– А, ну тебя! – окончательно рассвирепел мужичонка. – Вот врет! Тьфу!

Он сердито встал и отошел в угол, где принялся свертывать ножку, что-то оскорбленно ворча про себя.

Слесарь быстро пригнулся к Шевыреву и пробормотал:

– Шестой месяц из дому... Может, и померла старушка с голоду...

Черное лицо его покривилось.

– Что ж, если вы правду говорите, что на работу рассчитывать нельзя, тогда что же... С моста да в воду?

Он быстро поставил локти на стол и запустил пальцы в вихрастые волосы.

– Пустое, – возразил Шевырев.

– А как же иначе? – моментально поднял голову слесарь. – С голоду умирать, что ли?

Шевырев медленно и недобро улыбнулся.

– Говорят, смерть от воды – самая мучительная... С голоду, пожалуй, лучше...

Чернолицый слесарь широко открыл глаза и вопросительно посмотрел на Шевырева.

– Да и что вы докажете тем, что утопитесь?... Одним голодным меньше, им же лучше!..

– А что же делать?

– Ищите работы, если ничего другого не придумаете, – вскользь заметил Шевырев. Слесарь отчаянно махнул рукой.

– Я шесть месяцев ищу... Нигде не возьмут – политический!.. По ночлежкам ночую, по три дня голодаю... Теперь на работу стань, пожалуй, и силы не хватит... Позавчера милостыню просил... До чего дошло!

– Как?

– Да так... Просил, и все тут... Шла какая-то барыня, ну, я и попросил...

– Дала?

– Нет. Говорит, мелочи нет...

– Ага, мелочи! – обронил Шевырев одним уголком губ.

Он положил руку на стол и забарабанил пальцами. Слесарь внимательно и безнадежно следил за этим мелким нервным движением. Вокруг кричали, шумели и ругались, а в бильярдной тупо стучали мастиковые шары и один, видимо разбитый, катался с грохотом, точно где-то далеко шел поезд. Парень с серьгой перебрался в бильярдную, и оттуда доносился его залихватский голос. Мимо окна все так же, туда и сюда, мелькали ноги. Казалось даже, что это одни и те же люди нарочно ходят мимо окна: пройдут и воротятся, постоят за углом и опять пробегут мимо.

– Ну, хорошо... а добились вы чего-нибудь, по крайней мере? – заговорил Шевырев.

– А как же! – воскликнул слесарь.

С его черным безнадежным лицом произошла мгновенная перемена: глаза заблестели, голова приподнялась и прежнее восторженное выражение разлилось по всей его длинновязой фигуре.

– У нас, знаете, горнорабочие – самый тупой народ. Да и что с них спрашивать: целый день, с пяти часов утра до восьми вечера, под землей. Вечером домой прибежит, поест и спать... А в четыре часа гудок – вставай. Грязь, вода, простуда, то и дело, гляди, взрыв... В нашей шахте два взрыва было: один раз восемнадцать человек, а другой – двести восемьдесят два убило... Жизнь совершенно каторжная... Если горнорабочего на каторгу сошлют, ему там лучше покажется!.. Ну, конечно, народ тупой и забитый до бесконечности. Мастерские наши, те развитые... Партийный народ... Мы одни и орудовали сначала... Трудно было. Шпионство развито – страсть. Чуть что, сейчас на ухо инженеру: Иванов, Петров, там, нехорошо себя ведут. Ну, и в двадцать четыре часа, через полицию, вон... Пропаганда страшно трудна была... Однако в конце концов раскачали-таки.

Слесарь восторженно и горделиво улыбнулся.

Сразу было видно, каких нечеловеческих усилий стоила ему эта раскачка, сколько опасности, страха и муки перенес он, пока работал в темном подполье, и сколько восторга пережил, когда увидел первый успех.

Шевырев внимательно смотрел на него.

– Всего добились: представительства рабочих, права собраний, квартирный вопрос поставили, больницу улучшили, прогнали старого доктора... Скотина был... Библиотеку завели и своего туда посадили...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.